

[Семейные
истории]

Дельфина Бертолон

ГРАС



ЭКСМО

Москва
2013

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)
Б 52

Delphine Bertholon

GRACE

© 2012 Delphine Bertholon

Перевод с французского *Леонида Ефимова*

Художественное оформление *Алексея Дурасова*

Бертолон Д.

Б 52 Грас / Дельфина Бертолон ; [пер. с фр. Л. Ефимова]. — М. : Эксмо, 2013. — 320 с. — (Семейные истории).

ISBN 978-5-699-65005-7

Семейная жизнь Грас и Тома выдержала испытание первым ребенком, но рухнула после рождения мертвого сына. Фанатичная борьба со старением и ревность к молодой няне-польке отняли у Грас все — любовь мужа, доверие детей, душевный покой. Отныне ей есть что скрывать.

«Грас» — это захватывающий роман с непредсказуемым сюжетом. Мораль его проста: ни у одной тайны нет срока давности. И как бы надежно скелеты ни прятались в своих тайниках, рано или поздно они оттуда выберутся. Даже если вместо шкафов они замурованы в стенах семейного особняка.

УДК 82(1-87)

ББК 84(4Фра)

© Ефимов Л., перевод на русский язык, 2013

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-699-65005-7

Moje Kochanie¹,
Когда же ты вернешься?

Я тебе пишу, но некуда отправить, некуда — в твоём мире без почтовых ящичков; твои поездки, твоя работа — я все это знаю, но сегодня вечером мне надо с тобой поговорить. Только что я говорила с тобой в своей постели, говорила как с Богом, но не вышло. В любом случае это хорошо для меня, писать на твоём языке, в ожидании твоего настоящего языка. Я делаю это на старой машинке «Ремингтон», обожаю ее стук, он так идет золотистым камням дома, отражается эхом от стен, и я воображаю себя настоящим писателем, как в американских фильмах.

Я пишу тебе, потому что чувствую: кое-что должно случиться, плохое чувство. Я всегда чувствую, когда что-то должно случиться. Когда я была маленькой, я поняла, что дедушка умрет, еще до того, как он умер, — как раз перед тем, почти в тот самый момент, мне тогда вдруг стало очень холодно и буд-

¹ Любовь моя (польск.).



Дельфина Бертолон

то кто-то стал меня душить. Я почувствовала две руки на своей шее, так же, как чувствую твои руки на своей коже, когда ты двигаешься туда-сюда, я думаю, что поняла это, потому что я и Dziadek¹ были как два пальца на одной перчатке. Я снова чувствую холод, и в этот раз из-за себя. Она знает. Ничего не говорит, ничего не показывает, но я уверена. Она знает.

Мы сделаем это? Уедем? Сделаем это?

Здесь все хорошо. Я очень люблю твоих малышей, хотя Лиз иногда, я тебе это уже говорила, пугает меня своими глазами, большими, как серебряные монеты.

Я жду Рождества, потому что ты вернешься, будешь тут, и я все думаю, нужны ли всем этим людям, которых ты встретишь по дороге, все эти вещи, которые ты продаешь по дороге. У нас, в Польше, мой отец был столяром. Все вещи, которые он продавал, были для чего-то нужны. Ведь всем нужны стулья, чтобы сидеть, а не стоять все время, и столы, чтобы есть, и буфеты, и скамейки, и деревянные лошадки тоже. Одну такую лошадку он сделал мне на день рождения, на мои шесть лет, с гривой из веревочек. Нарисовал серые пятна на рыжей шкуре, но морду покрасил голубым, чтобы я не поверила, что это настоящая лошадь, будто я дурочка. Однажды мой сосед ее сломал, встал на нее, как делают мальчишки. Натан тоже часто ломает игрушки Лиз, и Лиз делает то

¹ Дедушка (польск.).

же самое с его игрушками, только Натан никогда не делает это нарочно, а Лиз — всегда.

Твоя дочь и твоя жена похожи, у обеих пепельно-белокурые волосы и стальные глаза.

Когда ты вернешься? Я знаю, ты звонил вчера, но не могла же я попросить у нее трубку. Если бы только ее не было дома, если бы трубку взяла я, а не она... С тех пор как телефонная кабинка сломана, мне кажется, будто я ходила туда каждый вечер, чтобы растаяла моя печаль, потому что когда я спускалась туда ждать звонка меж стеклянных стенок, а потом слышала твой голос, и ты меня смешил, все становилось возможно и весело до твоего настоящего возвращения. Вместо этого я пишу. Если все будет хорошо, ты не прочтешь это письмо. Но я пишу, потому что мне становится холодно, как тогда, с бабушкой, и я чувствую себя больной. Если меня не будет здесь, когда ты вернешься, значит, я была права, поэтому я и оставляю это письмо в нашем тайнике, ты знаешь где, тебе ведь, надеюсь, наверняка захочется туда заглянуть, и тогда ты поймешь, что я тебя не бросила.

Быть может, я болтаю глупости, быть может, схожу с рельсов, как поезда, потому что мне тебя слишком не хватает и очень холодно, я вот-вот заболела, я «выжата», как ты говоришь, это всегда меня смешит, и я тебя представляю большой простыней, которую я выкручиваю своими руками, чтобы стекла вода. И знаешь, о, это глупо, но я всегда об этом думаю,



Дельфина Бертолон

когда мы с тобой занимаемся этим, и наш пот перемишивается, я тогда закрываю глаза, и ты становишься простыней, такой мягкой, и я выжимаю тебя своими руками, сжимаю тебя все сильнее и выжимаю из тебя пот, это любовная стирка.

Мы это сделаем? Убежим?

Когда ты не здесь, все, в чем я уверена, когда ты здесь, превращается в сомнения и тени, в больших черных птиц над моей постелью, которые клюют мне лицо.

Завтра, надеюсь, ты опять позвонишь, и я сниму трубку, потому что она будет в парикмахерской, чтобы навести красоту к твоему возвращению.

Я не сделаю ничего особенного к твоему возвращению. Просто останусь здесь и буду тебя ждать.

Kocham cie¹.

К.

Едва переступив порог дома, я понял: что-то не так. Быть может, из-за взгляда моей сестры и этой ее манеры — даже не встать с кресла-качалки, чтобы поздороваться с нами, вынуждая детей подойти к ней медленно и немного испуганно, как и всякий раз при встрече с тетей. Они поцеловали ее, чуть прикоснувшись губами, и сразу убежали в парк, словно красная плитка пола жгла им ноги.

¹ Люблю тебя (польск.).

Ощущение окрепло, когда я бросил взгляд в левый угол гостиной. Мне доводилось видеть его всего раз в году, но он всегда был одинаковым, украшенным слишком большой для комнаты елкой, гротескно скрючившейся под потолком, моя мать никогда не обладала верным глазомером. Иногда я думал, не делала ли она это с некоторых пор нарочно. *А измерить ее, Грас, тебе никогда не приходило в голову?!*

Каждое 24 декабря моя первая, довольно воинственная мысль касалась моей матери и этой непомерной елки, но в этом году я подумал о взгляде сестры, потому что елки не было. Левый угол гостиной был пуст, скандально пуст, и это схватило меня за шиворот и отбросило назад, в те времена, когда я жил в этом доме каждый день. Давным-давно, целую вечность назад.

— Где мама?

— В спальне. Спит.

Я снял парку, бросил ее на банкетку. Телевизор был включен без звука на круглосуточном новостном канале. Весь экран занимало лицо Лорана Гбагбо, вечного президента Кот д'Ивуара; потом его сменила Эйфелева башня под двенадцатисантиметровым слоем снега — беспрецедентный факт с 1987 года. Я наклонился к Лиз, поцеловал ее, так же слегка прикоснувшись губами, как это только что сделали близнецы — *чмок* в скулу, крепкую, почти твердую. Ради меня она тоже не соблаговолила подняться. Ее



Дельфина Бертолон

кресло поскуливало, словно больной зверек; в печке лопнул угольный брикет. Сестра выключила новости, вяло протянула руку к пачке сигарет.

— Ладно, — сказал я, — есть что-нибудь, о чем я должен знать?

— Нет, а что? — отозвалась она, чиркнув спичкой, с видом, который всегда напускала на себя еще с девчоночьей поры — будто считает меня полным идиотом. Даже не поймешь, со зла это или из озорства.

— Как это что, Лиз?! Уже пять часов, Рождество на носу, мама спит, елки нет, а ты качаешься как дурочка, вместо того чтобы... Не знаю, сделать то, что ты обычно делаешь, открыть бутылку, например, потому, что мы «наконец-то» приехали...

— Малыш, ты же сам знаешь, где подвал...

Я вздохнул, с вожделением втянув в себя клуб дыма, слетевшего с ее губ. Высокие часы с маятником пробили пять ударов; в детстве я прятался внутри их — от матери, от сестры, от тоски. После ухода отца оставалось только это — *тоска*. Некоторое время я смотрел на Лиз. Прошло столько месяцев с тех пор, как мы виделись, а она осталась все такой же: темные джинсы, открытая рубашка, сапоги на каблуках; в общем, похожая на подростка холостячка, несмотря на свои сорок лет и сорок сигарет каждый день. Не красавица, не уродина, всего лишь странная, как неуклюжий жеребенок, но уже с характером



жеребца-производителя. Я взял из корзиночки на барной стойке мандарин и стал очищать от кожуры. Бросив курить, я выдумал тысячу способов, чтобы занять руки. Снимая кожуру, я выкладывал кусочки на печку, чтобы высвободить запах, горьковато-едкий запах детства. Вспомнил, как Лиз брызгала мне соком в глаза, насмехаясь: «Не будь таким неженкой, от этого глаза блестят!» Одним словом, она часто доводила меня до слез. Сестра улыбалась в пустоту, словно думала о том же. Я подтянул к ней стул, раздел мандарин надвое, дал ей половину. Она заглотила ее целиком, вместе с облаком дыма. Закашлялась, потом указала на сигарету.

— Все еще держишься?

— Три года. Будет в феврале.

— Ну, ты даешь. Это из-за детишек. Будь у меня дети, я бы тоже бросила. Или будь у меня деньги. Или и то и другое, если уж на то пошло.

— Курево тоже денег стоит, Лили. Даже кучу денег.

— Ну да. Когда обеспечен, как ты, можно найти замену. Путешествовать, делать покупки, колечками руки занимать...

Я посмотрел на свое обручальное кольцо, которое машинально крутил на пальце. И подумал о тебе, Кора, подумал о наших малышах в парке, о темноте и заключил, что в Лиз вовсе не было озорства. Наверное, я всегда это знал. Другой брикет лопнул в печке; молчание трещало, как разодранная простыня.



Дельфина Бертолон

— Мне сходить за покупками? Вы приготовили что-нибудь, раз уж елки нет?

— Да что с тобой в этом году? Далась тебе эта чертова елка! Ты сам никогда не мог ее поставить, только говорил: *тут слишком так, там слишком так!* Да, что поесть найдется, цыпленок со сливками, достаточно разогреть. Торопиться некуда.

Вернулись дети, стуча зубами от холода, розовея носами и щеками из-под маленьких шапок. На козырьках из искусственного меха блестели снежинки. Хором, как всегда в возбуждении, они завопили:

— Снег!

Солин уточнила:

— Много!

— Вот такие хлопья! — поддакнул Колен, раскинув руки, словно марселец.

— Супер, ребята. Завтра налепим снежков, и я вас разобью в пух и прах. А пока снимайте ваши одежды.

Они переглянулись этим чертовым взглядом — загадочным, полным неизбежного соучастия взглядом близнецов. Хоть я их отец, всегда чувствую себя при этом посторонним.

— А можно еще поиграть?

— Коко, вы же промокли насквозь! К тому же там уже черным-черно.

— Ну да, — поддержала меня Лиз, обращаясь к ним в первый раз с нашего приезда, — не думаю,

Грас



что Дед Мороз раздает подарки детишкам с пневмонией.

Они уставились на свою тетку с кислым видом. В душе я ухмылялся. Достать кого-нибудь — это моя сестра умеет. Я был ее первой жертвой.

— Кроме шуток. Вы что же думаете? У Красного Деда полно работы в такую погоду. Не хватало ему заразиться от вас.

Близнецы посоветовались, прежде чем покинуть комнату. Солин впереди, Колен за ней. Я крикнул вдогонку:

— Сменная одежда в синей сумке!

Через десять минут, переодетые в сухое с ног до головы, они уже требовали бисквитов и кока-колы.

Большие часы прозвонили половину шестого. Думаю, в этот момент и случилось первое событие, но пока только дети осознали его.

*Грас Мари Батай,
7 марта 1981 года, за секретером в спальне,
07.22 на радиобудильнике.*

Сегодня утром мне исполнилось тридцать четыре года.

Тридцать четыре года, двое детей.

Муж? Где-то другом месте.



Дельфина Бертолон

Ты — в другом месте.

Я хотела сделать прическу, и знаешь что, Тома? Наткнулась взглядом на свой затылок в двойном зеркале. И там, на затылке, в густой массе волос заметила серую прядь. Нет, не серую, седую.

Тебя здесь нет, чтобы увидеть это, — ты занят своими шляхами в деловых поездках. Да будут благословенны твои деловые поездки. Я морю себя голодом, но ты этого не знаешь. Бегаю кругами по деревне, пыхтя, как бык, но ты этого не знаешь.

В тридцать четыре года моя мать выглядела на пятьдесят. Ее руки были как железная щетка. Как наждачная бумага. Ее ласки были шлифовкой пемзой.

Я поклялась никогда не становиться такой, как она. Я помню: в тринадцать лет перед зеркалом в своей комнате поклялась.

И нарушила клятву.

Я сходила в парикмахерскую, снова сделала мелирование. Парикмахерша сказала, что стоит подумать о полной окраске, дескать, простого затемнения прядей уже недостаточно, чтобы замаскировать это явление. Так и сказала — *явление*. Этой мерзавке и двадцати еще нет. Я хотела крикнуть: «Мне тоже было двадцать лет!» Я тебя встретила на пляже, по-



луголая — господи, уж тогда-то я кое-чего стоила голышом! Тогда лучшее, что у меня было, это ягодицы. Ягодицы и волосы. Ты сам всегда говорил: «С такой гривой и задницей ты могла бы добиться чего угодно от кого угодно».

Я уже ничего ни от кого не добиваюсь, даже дети меня не слушаются. Ладно бы Натан, он еще совсем маленький. Но Лиз такая стерва. Думаю, это у нее от матери. Неважно — она моя любимица.

Мои ягодицы после рождения Ната? Больше ни на что не годны. А мои волосы? Слушай, неужели в тридцать четыре года я уже списана? Устарела?

Грас. Грязь. Гнусь.

Гнусная шлюха.

Хотя шлюха — это не я.

Ну зачем надо было делать это? Зачем надо было ее брать? Мне никогда не следовало тебя слушать. Седая прядь — это из-за нее. Уверена, что из-за нее. За шесть месяцев мои морщины углубились, щеки увяли, шея обвисла. Эта девчонка — проклятие.

Я начинаю этот дневник, потому что «терапевт» мне не нужен. Я не буржуазна. Никогда не была настолько буржуазной, чтобы пялиться на свой пупок и хныкать. Хотя есть из-за чего.